

Т

ретий час ночи, а хлеб еще не привезли. Ожидая машину, Сергей перечитывает кем-то забытый старый журнал и, не зная, как еще скоротать время, выходит из булочной в сентябрьскую ночь.

Тихо. Прохладно. Яркие, какие-то сегодня не городские звезды струят свой бесплотный свет на землю. Город спит. Деловитое журчанье неожиданно появившейся из переулка машины не нарушает тишины.

— Не спишь, Серега? Принимай хлебушек, — скороговоркой, открывая задние дверцы, бросает на ходу Николай Васильевич. — Ты у меня, Серега, сегодня последний. Все рейсы уже сделал.

Духовитый, теплый запах поплыл из фургона, перемешался с первыми запахами осени. И почему-то сразу на душу легла тихая, спокойная грусть, вызвав неясное ощущение чего-то навсегда утраченного...

Отполированные крепкими ладонями грузчиков лотки цепко удерживали в своих объятиях румяные, с коричневой корочкой батоны, строгие, внушительного вида буханки ржаного хлеба; ноздреватая внешность их вызывала желание не отрезать, а отломить горбушку. Круглые, сдобренные маком булки смотрели, словно конопатые мордашки.

Первое время у Сергея от хлебного дыхания кружилась голова. Теперь он привык, но от желания разломить надвое хрустящий батон так и не избавился.

Пальцы, чувствуя упругий мякиш, так в него и вонзаются. Сергей неторопливо жует и смотрит на звезды, будто спрашивая их: «А у вас там есть такое чудо?»

Николай Васильевич закрывает пустой фургон и, чему-то посмеиваясь в прокуренные усы, садится в кабину.

— Теперь до дома! Серега, запомни: самый лучший запах на земле — это запах хлеба.

И тут заработавший двигатель заглушает его слова. Сергей остается один на один с хлебом.

Ежедневно видит он в магазине, из своего уголка подсобки, руки, тянущиеся к хлебу. Он не видит ни лиц, ни одежды покупателей, он видит только руки, берущие хлеб.

Ранним утром ночной хлеб еще полон сил, он еще мягок и душист, его не нужно унижать вилкой — берут сразу. Тоненькие пальчики ребенка, конечно же, тянутся к большому батону. Пальцы крепко сжимают хлеб. Не успев рассчитаться с кассиром, маленький покупатель уже откусывает от круглого носика горбушки — с одной и другой стороны.

А буханки, батоны, заполняя освободившиеся места, спешат по стеллажу вниз к покупателям, к людям. Сергей уверен, что эти секунды движения вмещают в себя память хлеба о руках, которые весной насыщают землю семенами, а потом сминают колосок в ладони: не поспел ли? И сколько пота, труда и солнца в каждом колоске! Вот и спешит он, хлеб, к рукам, его породившим. И связь эта — путь хлеба к человеку и человека к хлебу — не прервется.

ХОЛОДНО

«Звонят где-то», — старуха открыла глаза и стала прислушиваться. Наконец поняла, что это телефон, который стоял на столике у ее изголовья рядом с диваном, на котором она провела последнюю зиму, а вот теперь уже май, но она редко его покидает, разве что по нужде, да что-то перекусить.

— Это ты, Шур? А я лежу, у меня холодно, окна завесила одеялами. У тебя в новой квартире тепло?

— Ир, да я тебе уже много раз говорила, что я в этой однокомнатной квартире уже 23 года живу, как мы с мужем продали трехкомнатную квартиру, чтоб сыну деньгами помочь. И ты в ней была, и не раз даже. Вспомни!

— Ну что сказать: у меня холодно, лежу и лежу, а человек, который ко мне приходит и помогает, ушел куда-то.

— Да это сын твой старший, Сергей. Он за тобой уже шестой год ухаживает. Еще в прошлом году тебя летом на дачу возил и меня прихватывал...

— Да?.. Мой Сергей далеко живет, а этот — другой. Меня ругает и кричит.

— Ругает — правильно, а то ты уже совсем заленилась. А что кричит, так ты ж головой машешь, а сама как тетерка — не слышишь: вот он громко и говорит.

— Как твоя нога?

— Да я ж говорила: палец отрезали, еще бы помедлила — потеряла л ногу, так врачи сказали. А с этим пальцем я три года мучилась. Ты же знаешь, уже ходить не могла: что ни день — кровь с гноем... Сейчас-то уже даже наступить могу, правда, хожу в носке. Ступня распухла, даже тапок не лезет!

— А у тебя холодно?.. Ну, пока...

Старуха никак не могла встать с дивана, а потом, согнувшись, изловчилась и, опираясь руками о мебель, стены (оба бадика где-то бросила, точнее, не помнит, а есть ли они у нее вообще), пошла на кухню.

— Мам, сначала борщ или суп на выбор, иначе опять кишечник не будет работать. А потом колбасу, батон, молоко. Заодно и таблетки выпей.

Сергей положил в ее ладонь таблетки: «Если положить на стол, сама не выпьет», — подумал он.

— Холодно!..

Мать, как всегда, не слушала, что ей говорили. У нее контакты замыкались особо. Да и оставалось их, наверно, три всего: для того чтобы поесть, сходить в туалет и заснуть. Она выпила молока, съела треть батона и начала движение в сторону лежбища.

— Я ж третий раз повторяю: горячее нужно всегда и по режиму...

— Не кричи! Я тут хозяйка... И нечего водить сюда своих ребят. Они по моей кровати прыгают, мед поели и теперь еще мои деньги забрали. Я думала, они порядочные.

— Да нет в квартире никого, и не было, а деньги, что я тебе дал, ты каждый день пересчитываешь, а потом прячешь, — Сергей, уже еле сдерживая себя, стал собираться на улицу. — Уже четвертый раз теряешь, а они тебе и не нужны вовсе. Все, что нужно, я покупаю: и продукты, и лекарства, и все остальное... Сама-то ты ведь еле ходишь. Тебе ведь скоро 91 год будет. И инсульт твой...

— Холодно, накрой меня еще чем-нибудь.

Едва коснувшись головой подушки, старуха засыпала, правда, не надолго, а может, просто дремала, а потом, перебирая старые открытки и фотографии, рвала их на мелкие кусочки и бросала на пол. На вопрос, зачем она так делает, отвечала: «А это не я, это твои ребята». Она часами сидела и пыталась то ли вспомнить что-то, то ли понять, почему стало так холодно, почему кругом никого нет, а раньше было много знакомых... Почему?

В ее голове вихрем неслись какие-то усеченные обломки мыслей-иглолок, которые ничего не создавали и были только надоедливым фоном. А слышала она только внутренний голос, а может, это был голос инстинкта, который отдавал лишь несколько команд. Надо спать, надо есть, надо по нужде. Да и голос этот внутренний почему-то принадлежал то одному человеку, то другому. Конкретного лица воссоздать она не могла.

— А что сейчас на дворе, почему так холодно?

— На дворе конец мая и уже не так холодно, как было зимой.

— Наверное, скоро все мы замерзнем, и будет все время зима. Батареи холодные. Как в таком холоде я жить буду? А когда была маленькая, было тепло и все время лето!

Старуху не интересовали ни передачи по телевидению, ни книги... да ничего. Она жила в мирке, где было холодно. Но были моменты, когда у нее светлело лицо и в глазах появлялось что-то осмысленное. Происходило это на прогулках в центральной парке. Она, опираясь на лыжные

палки, проходила самостоятельно несколько метров и садилась на очередную лавочку, благо лавочки после реконструкции парка были установлены очень часто. Сергей шел следом; от жалости и безысходности у него сжималось сердце. Он видел, как быстро угасает мать, но помочь ничем не мог: «Лекарства бессильны против времени», — подумал он. С другой стороны, его все чаще посещала навязчивая мысль: «Уже шесть лет как я сиделка, своей жизни просто нет!» А мать, с трудом устроившись на очередной лавочке, с улыбкой твердила: «Хорошо-то как!» А потом мысли-иглочки как-то соединялись, и получался даже какой-то образ, кусочек-эпизод из ее детства.

«В нашем дворе мальчик был, сильно заикался, но добрый. А жили мы в доме, в котором был магазин, а там — мыло хозяйственное в ящиках в коридоре лежало, и никто его не сторожил. И наш Костя-заика возьмет, бывало, там несколько кусков и продаст. И к нам, а сам такой важный и довольный: «Ну что, айда в кино, на всех хватит, еще и на леденцы останется, если у кого какие копейки есть». И мы неслись, счастливые.

Просыпаясь, старуха опять перебирала старые фотографии. На одном снимке еще молодые отец, мать и Сергей — еще студент. Сергей показывал пальцем на свое изображение и спрашивал: «Это кто?» Мать долго молчала, а потом: «Вот мой Коля...»

— Отец умер семь лет назад, все это время — я с тобой, — в который раз повторял Сергей. — А на фото — я молодой.

— Нет, это мой Сергей, а ты совсем другой человек, ты приходишь и уходишь. У меня есть только Володя. Он где-то здесь, но редко приходит. А ты чужой: меня ругаешь, а мне холодно. Так же холодно мне было, когда мы зимой с мачехой и сестрой из Воронежа под Тамбов пешком шли. К родне мачехи. Дом-то наш на Каляева немцы разбомбили. Оттуда, с дороги той, наверное, этот холод опять ко мне пришел. И где теперь мой садик?.. Хочу поехать... — и собирала вещи в многочисленные пакеты. У старухи мелькали, очевидно, разные образы, но узнавала она теперь только младшего брата Сергея — Володю, мужа на фото, да Шуру, подругу еще с молодости, которая часто забирала трехлетнего Сергея к себе домой, когда мать Сергея работала в ночную смену. В то далекое время ее мужа перевели служить в армии из Севастополя на остров Русский.

Образы все время менялись, старуха не могла и, наверное, не успевала совместить образ с конкретным человеком.

«Ты скажи своим друзьям, чтоб они не куролесили по ночам, мед не ели... Холодно!»

И засыпала.

ГРУСТЬ

Последние годы мое одиночество скрашивает грусть. Если я смотрю телевизор, пишу или читаю, грусть садится напротив и долго, по-матерински, с теплотой смотрит на меня. Она ни о чем не спрашивает, молча наблюдает. Грусть довольно полная особа с большими, широко открытыми зелеными глазами. Если я иду прогуляться, она просит, чтобы я немного подождал, так как ей нужно собраться, хотя одета она всегда одинаково, во что-то серо-голубое. Тогда мы идем вместе, и грусть просит, чтобы я не спешил, так как ей быстро ходить нельзя, она задыхается.

Это было в середине лета, когда после долгих жарких дней резко по-

холодало, и пошел мелкий дождик, перемежающийся с короткими ливнями. Я что-то писал, а грусть, на этот раз расположившись на диване, смотрела на меня в профиль. Я чувствовал изучающий добрый взгляд, но не обращал на нее ни малейшего внимания. То ли привык к ее присутствию, а может, просто она мне надоела.

Про себя я подумал: «Уж если все время рядом, хотя бы спросила о чем-либо. А то вроде кошки или собаки. Молчит только. Хорошо, что есть не просит». Как будто читая мои мысли, грусть тихо произнесла: «Что пишешь?» От удивления я повернул голову. Грусть была в хорошем расположении духа. Большая, умиротворенная и спокойная.

Я акцентирую на этом внимание, потому что уже несколько раз видел свою подругу-грусть совсем иной. Тогда передо мной сидела худая и сжавшаяся в комок боль. Глаза у нее горели и были желто-воспаленными. Она пыталась что-то сказать, но я слышал только шипение. С тех пор про себя думаю: «Пусть уж лучше молчаливая грусть, чем шипящая боль».

Ближе к вечеру дождь закончился, и я пошел прогуляться. Пахло свежестью, зацветающими липами. Грусть, тяжело дыша, чуть отстав, плелась рядом.

— Дыши полной грудью.

— Давай посидим в скверике. — Грусть тяжело опустилась на лавку.

— Я тебя не вдохновляю, ты устал от меня? — Грусть пытливо смотрела мне в глаза. — Но тому виной не я. Ты родился такой... грустный, и я здесь ни при чем. Я бы и рада уйти, но не могу, ты сам и не отпускаешь. Ты привык ко мне, ты сросся со мной. Ты и я — это одно целое. Ты без меня уже не можешь. Да и поздно тебе менять меня на кого-то или что-то еще.

— Выговорилась, наконец-то, — подумал я.

Хотя во многом она права. Действительно, грустный я человек, и жизнь моя грустная. Не жизнь, а одна долгая грустинка. Но ведь я бываю и довольным, иногда даже радуюсь чему-то, правда, через грусть. Внутри, даже когда смеюсь, сидит она, грусть, и вроде как делает мне поблажку: мол, повеселись немного — я подожду.

Я всерьез задумался: «Может, это у меня от чувства неудовлетворенности собой, от несбывшихся желаний, мечты, от не совершенного чего-то стоящего, да и вообще — от не так прожитой жизни?» Я мысленно где-то соглашался со своими мыслями, где-то нет... и мне стало грустно... в себе даже разобраться не могу!

— А тебе тоска не сестра родная? — спросил я.

— Нет, тоска это хуже, хотя мы близки с нею... тоска, когда боль внутри, а я почти на поверхности, в душу не лезу, со мной жить можно и вполне сносно. Со мной и грустить можно с юмором, и даже быть счастливым с налетом грусти. Поэтому ты меня не гони...

Утром мы пили чай, и грусть грустно улыбалась, а когда я смотрел на нее, опускала глаза.